

КЭТРИН

ДАНИ



ЧЕРДАК

Кэтрин Дэнн

Чердак

Серия «Чак Паланик и его бойцовский клуб»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48472615

Чердак: АСТ; Москва; 2019
ISBN 978-5-17-114307-7

Аннотация

Роман-айсберг, в котором сюжет – верхушка, а подлинная суть скрыта в глубине повествования.

На поверхности – история юной Кей:

1. Ее побег от властной матери, скитания по городам «одноэтажной Америки».

2. Присоединение к странной группе, за невинным фасадом которой (продажа подписки на журналы) скрывается нечто, напоминающее секту.

3. И трагикомический нелепый инцидент, который приводит Кей за решетку.

А в глубине – разум и душа Кей. Ее восприятие, в котором сознательное переплетается с подсознательным, прошлое перемешивается с настоящим, а реальное – с

воображаемым. И прежде всего – ее эмоциональный путь от детства к зрелости.

Кэтрин Данн Чердак

Katherine Dunn
ATTIC

© Katherine Dunn, 1970, 2016

© Перевод. А.А. Соколов, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

* * *

Посвящается Данте П. Даполониа

Сестра Блендина раскладывала пасьянс, только я в ту минуту об этом не знала. В обличье псины и стрельнув лупешками, и жарко улыбнувшись, я наклоняюсь к конторке кассира: а-ну-ка-парниша-обналичь-мой-чек-гони-монету. Он потянулся ко мне, и я, подавая чек, приготовилась царапнуть ему ладонь ногтем большого пальца. Но между его рукой и моей лапой что-то не срослось: пальцы кассира ухватили пластмассовую круглую ручку на металлическом ящике и повернули, увеличивая до полного звук. Время смешалось, и все вокруг понеслось с невероятной быстротой. Подбегает менеджер, изучает чек, щиплет мою потертую псиную лапу,

звонит по телефону, спрашивает мою настоящую фамилию и адрес, пялится на меня глазами-монетами, машет рукой в сторону двери, откуда дважды появляются люди в хрустящей синей форме. Посреди затерянного Миссури я стараюсь пошевелить мозгами и ответить их глазам (правду о том, какая моя фамилия и что-то по поводу адреса: я живу на Либерти-стрит в номере 319, в городе Индепенденс, штат Миссури). До меня доходит слишком поздно, что правила игры в гляделки кардинально меняются, если глаза собеседника болтаются на прикрепленной по сторонам ширилки цепочке.

В семи милях и двенадцати этажах сестра Блендина переворачивает черного туза, и глаза начинают двигаться и расти. В этот момент я пытаюсь, пятюсь, выскользнуть из псового обличья, но оно слишком плотное, и меня опережают. Человек в форме делает широкий шаг и оказывается за моей спиной. Этого времени хватает на то, чтобы глаза, превратившись в металлические кружочки, въехали друг в друга и, с громким щелчком захлопнувшись, угодили мне в бедро, на дюйм ниже лобка. Оборвалось сердце и грохнулось бы на пол, если бы не зацепилось в промежности. Знакомое чувство, как в быстро трогающемся лифте, или когда мать зовет таким голосом, что сразу понятно: она заставит лечь, раздвинув ноги, желая убедиться, что новый папа не дрючил тебя, четырехлетку, пока она ходила по магазинам. Я стиснула бедра, и жар спаял кружки там, где они коснулись места между ног. Охромевшая, я потеряла способность передви-

гаться быстро. Избавиться от псины не получалось, поскольку исход был наглухо заблокирован. Хмырь в форме решил, будто уступка тоже успех, и чтобы закрепить его, расстегнул ширинку. Стиснул мышцы ягодиц и выпятил таз. Бился и терся за моей спиной – каждое движение активировало лазер. Свет для точности прицела разливался по мне толчками, как от тройного красного неонового пульсара в Кресдже. Я чувствовала, что псина сползает с меня в лужу, и в образовавшиеся дыры на голое тело потянуло воздухом Кресджа. К тому времени, когда он кончил, мой облик совершенно обвис. Он спрятал оружие между ног (аккуратно, чтобы не обжечься) и застегнул молнию. Я же, пытаясь реанимировать псину, лихорадочно шептала: «Зрелость» (это ее имя). Зрелость! И к своим лихорадочным просьбам даже прибавила старое лунное заклинание:

Абра Кадабра,
Масло ореха.
Вмажь мне в середку,
Когда не до смеха.

Если произнести правильно – от шепота до диких завываний, – то успех обеспечен: псина возвращается на место. Но в присутствии охранника я постеснялась вопить, и, поскольку трюк не сработал, пришлось полагаться лишь на себя. Форма пихнул меня к двери, и у меня хватило времени только на то, чтобы заправить титьки, словно псиная шкура

была на месте до того, как мы двинулись дальше. А он облапил меня любовной пятерней и едва не сломал плечо.

Мы вышли из двери – я в чулках, а шкура волочилась за мной и болталась на ветру.

Пум-пум-пум-пшшш... Пышный рождественский Кредж погружался в брякание колоколов на площади. За порогом суета тучной ноябрьской независимости. На улице тусуются множество любовников, вроде нас – лижутся, обжимаются, долбятся. Я покрепче запахнулась в остатки псовой личины и, чтобы не бросаться в глаза, приникла к Форме. Он наклонился, куснул меня в ухо и произнес:

– Попробуй бежать, и я тебя застрелю.

Я почувствовала, как его дуло между ног с каждым шагом тыкалось мне в задницу, и не сомневалась, что он говорит правду. Тепло улыбнулась, но, заметив, что он грызет кусок моей ушной раковины, я смущенно отвернулась.

Зал суда располагался в центре площади. На газоне карусель. Я заметила ее, как только мы повернули за угол, и сразу принялась рвать с себя шкуру большими клочьями. Вау! Как же я люблю карусели!

Форма оскалился, и громкость снова усилилась. Мы почти растворились в толпе, а колокола хлестали вальсами Штрауса. Длинные очереди маленьких мальчиков и девочек, тянущих родителей вокруг карусели, рядом две будочки, которые нужно пройти, чтобы усесться на лошадок. Мальчики тащат мам, девочки – папаш. Перед будкой с надписью «Мальчи-

ки» шестилетки стреляют из луков в мамаш. Те, широко раздвинув ноги, устроились на скамейках и могут получить с четырех попыток и с пятнадцати детских шагов стрелу в то место, откуда растут их ноги. Папаши сидят в другой будке, и девочки стараются набросить кольца на их сосиски. Если с четырех попыток это им не удастся, то они лишаются права покататься на карусели. Поэтому мамы все шире раздвигают ноги, а папы трут свои приборы, чтобы они исправно стояли. Горько заплакала белокурая девочка: у ее отца все беспомощно мягко, и кольцо раз за разом соскальзывало. Мужчина покраснел и попытался подкупить зазывалу, чтобы дочь все же пустила на лошадку, но на него только оскалились.

Вот это да! Карусель! Сорок лошадей с пышущими страстью глазами и втянутыми в рот губами – хвосты и гривы вздыблены от налетевшего сквозь пальцы их резчика ветра. Между задними резными ногами приклепаны розовые пластиковые члены, в вечном возбуждении, а под хвостами в старом дереве щедро отороченные синтетической губкой глубокие дыры. Под членами прикрепленные к полу платформы, за дырами – свисающие с потолка сиденья.

Вот что бросилось мне в глаза – псина подтвердит, – как только мы приблизились, карусель встала, и лошади замерли на месте в прыжке, зато вальсы Штрауса продолжали на нас изливаться. Между тем, как я отняла правую ногу от земли и тут же поставила рядом, поскольку тянули ошметки шкуры, не позволяя сделать широкий шаг, единственным воплоще-

нием движения был хозяин карусели, который обходил лошадей и чем-то прыскал из баллончика на сиденья и члены. А когда закончил, открыл ворота, впуская толпу детей. Те, визжа и смеясь, бросились занимать места по размеру. Таких размеров было десять, в зависимости от толщины и плотности, самые большие сосиски у лошадок с самыми маленькими дырками. Две малышки подрались из-за лошади с самым большим размером. Таскали друг друга за волосы, колошматили и наконец покатались по полу, кусаясь, визжа и царапаясь. Мальчишка лет трех подбежал к этой лошади, попробовал на ощупь сосиску, стянул с себя короткие штанишки на резинке и улегся животом на платформу. Он был такой один. Другие же парни снимали шортики и устраивались в креслицах за хвостами. Девочки, кроме двух подравшихся и теперь лежавших на спинах, задирали юбки и валились на платформы. Ноги всех детей были зажаты в стремях.

Карусель устроена так, что, даже в прыжке или припадая к настилу, лошади не способны коснуться детей. Оператор повернул рукоять, и аттракцион пришел в движение. Сначала медленно, затем быстрее. Дети зафиксированы на сиденьях и платформах, лошади взмывают вверх и ныряют вниз, обороты карусели набирают скорость. Отметелившие друг друга девчонки продолжали возню на помосте между лошадьми и на каждом обороте на мгновение возникали перед моими глазами. Вальсы добавили децибел, смыв остальные звуки. Стоявшие на земле родители кивают и скалятся, а дети на

лошадях замерли, лишь шевелят губами, обнажая зубы. Я посмотрела на человека в форме – с тех пор как мы остановились, его орудие между ног тыкалось в мои ягодицы в ритме музыки. Заметив, что я на него гляжу, он сразу прекратил, пихнул вперед, встряхнул за плечо и ткнул большим пальцем в шею.

Мы поспешно отошли от карусели, но как только оказались на улице, Форма помедлил, обернулся и улыбнулся. Музыка внезапно оборвалась, и звуки на площади стихли. Поверх всего завис уже несколько секунд продолжавшийся крик. Мы повернули сквозь толпу обратно к карусели, Форма пыхтел, шкура, как кольчуга, колотила меня по плечам. Писк-визг, от людского гомона гнется шея. И вот мы у карусели: я в негодной старой шкуре и блистательная форма, и что там еще задумала сестра Блендина?

На середине помоста, между раньше двигавшихся, а теперь замерших лошадей – мальчик. Или некогда мальчик. Лежит на спине с закрытыми глазами, штанишки спущены до колен, ягодицы сплющены на полу, вокруг кровь.

Форма все понял, однако спросил:

– Что случилось? – и был засыпан ответами.

– Видите лошадь, та, что за ним, с раздутыми ноздрями? Он до нее дотянулся, и его палец в них застрял, ах, это не вина компании! Мы всех инструктируем: одна лошадь подпрыгивает вверх, другая скачет вниз, видите, сэр, он такой коротышка, вот как вытянулся, сломан большой палец. Об-

резания не делали, я обещал его деду, пенис отсечен, на его месте отметина от прижигания.

Поскольку цепь на поясе Формы слишком коротка, он не мог наклониться, чтобы мы оба при этом не упали. Ему пришлось перекинуть мальчика через плечо и придерживать одной рукой.

– Куда вы его? Может, вызвать «Скорую»? Он оклемается?

– Не беспокойтесь, граждане, с ним все будет хорошо. Теперь он наш, я забираю его в академию. Его приведут в порядок с помощью особого полицейского лазера и поместят в лучший Мизура. Через пятнадцать лет будет как огурчик – станет задирать нос и радоваться, что ему так повезло.

Улыбки, кивки и шепот остались позади – мы шли вперед: я тащила псину, а Форма – мальчика. Пересекли улицу и стали подниматься по ступеням большого серого здания. Из обрубка мальчика на меня капала кровь.

– Что здесь находится? – спросила я.

Форма показал на большие римские буквы над дверью:

«Тюрьма Индепенденс»

Пока я читала, псина сползла, и морда настолько надвинулась мне на лицо, что я не могла не только видеть и слышать, но даже дышать. Пока я выбиралась из нее, мы продолжали идти, и что-то происходило, но я не знала, что именно. А когда освободила лицо, выяснилось, что мы стоим перед барьером, за которым находятся люди. Мальчик исчез, и Форма

велел, чтобы я сняла часы, очки и отдала сумочку. Я послушалась, оставив очки, поскольку увидела за барьером женщину. Она сидела за пишущей машинкой и быстро двигала руками. На ней тоже была собачья шкура – в стиле Мизура, – но только в гораздо лучшем рабочем состоянии. Женщина подняла голову, и ее взгляд дал ясно понять, что моя никуда не годится, поскольку, вместо того чтобы разозлиться, она, увидев еще одну собачью шкуру, испытала отвращение.

Оживить свою псину я никак не могла и с тех пор, как днем меня посадили в этот угол, ныла, упрасивала и растирала себя. Ничего не помогало. Я не знала, что делать.

Гнилое место, чтобы что-нибудь затевать. Мне нужен маленький темный закуток, чтобы кучкой свалить обувь и, мурлыкая мелодию, в такт перебирать вешалки. Но уже, наверное, полночь, а две стоваттки по-прежнему жарили на потолке. Похоже, будут гореть всю ночь.

Я находилась не одна. Ее звали Мэри – так она мне сказала.

– Я Мэри. Барменша.

Что я более-менее поняла, глядя на нее: ей хорошо за тридцать пять или сильно не дотягивает до пятидесяти. На ней были колготки, а если она когда-нибудь и имела средства на шкуру, то это было незаметно. Мэри носила кроссовки, но они вдруг слетели со ступней, и ноги скрылись под юбкой. Очень тонкие – словно резину натянули на кости без муску-

лов, жил и жира. Икры такие, будто под кожу запихнули резиновый мячик, и он перекачивается при каждом движении. Руки в тех местах, где высовывались из рукавов свитера, того же порядка. А торс свидетельствовал об удаленной матке. Было нечто особенное в плоскости ягодиц Мэри – со спины линия от колен до плеч была совершенно прямой – и вздутости полного дряблыми мышцами живота. Его приходилось подвязывать поясом, отчего казалось, будто это просто мешок с дерьмом. Грудь же, как я могла судить, висела до самого пупа.

Что до лица – не получается как следует разглядеть его. Волосы сальные, висящие, хотя короткие, затылок выбрит, это видно, потому что она постоянно клонится вперед. Шея вздута, щеки обвисли, но такое впечатление складывается из-за кожи, напоминающей мягкую белую глину. Я понимала: если ткнуть в нее пальцем, а затем убрать, останется ямка.

Но это все, что я могу сказать о лице Мэри, поскольку она все время наклоняется вперед. Локти на коленях, живот на бедрах, в воздухе летает пепел и неизменно садится на пол, локти выставлены вперед и книзу, словно Мэри держит в каждой руке нечто тяжелое.

Очки исчезли – их забрали, – и мой мир стал добрее, не столь пугающим. Все образы стерты, цвета насыщеннее, движения плавны, звуки тише. Будто мое искаженное зрение двигает кистью Ренуара, и тот скрюченной рукой спешит на-

ложить краски на колеблющийся холст. Я не ослепла – вижу забавные светотени собственных рук, а если закрою левый глаз и скошу правый, то замечаю сочные радуги на носу. Мэри слегка серовата, потолок слишком высоко, пол далеко. Текстура и формы ускользают от меня, линии либо обманчивы, либо отсутствуют. Глубина пространства вращается и перемешивается, точно аромат.

Лишь свет обжигает и слепит. Мэри неторопливо двигается по комнате, и мне нравится наблюдать за ней.

Звук. Тихий. Наверное, глушит бетон. Или наступила ночь. Возможно, дело не в очках, если все мои другие эмоции живы.

Металлическая скамья впивается в тело, и я понимаю, что, когда встану, на бедрах останутся красные отметины.

На высоком окне решетка, однако стекла нет, а сейчас ноябрь. В Индепенденсе. Я это чувствую. Ощущаю мерзостный запах Мэри – вонь сваленных в углу мятых бумажных тарелок и клочков. Застоялый запах рыбы и окровавленных тряпок под тарелками. Я могу спать – свет помогает закрыть глаза, запах – дело индивидуальное, личное. На мне тонкая блузка, но сапоги доходят до колен. Я могу спать, вот только нужно пописать.

Надо было, даже когда оставляла на столе закусочной сэндвич с бананом и арахисовым маслом, шла с чеком к прилавок в Кресдже, молча стояла во время атаки на шкуру или шагала через площадь. Я сижу здесь несколько ча-

сов, однако до сих пор не испытывала давления. Колготки прекрасно выполняют задачу – обтягивают тело и держат ноги вместе, поэтому я не чувствовала желания. Это одна из хитростей Блендины – массировать вокруг диафрагмы дамы бубей. Псина скомкана и спокойна, а вот мочевого пузыря вздулся и рыдает. Жмет, вспучивает, требует: обрати на меня внимание – присядь, раздвинь ноги.

Когда-нибудь я так и поступлю. А сейчас стальные глаза соперничают с препятствующей разбрызгиванию мембраной. Есть еще колготки. Я не пойду к холодному фаянсу, пока бодрствует Мэри. Не собираюсь приседать, чтобы пролиться сквозь насильственно стиснутые ноги, пока на меня смотрят.

Туалет не смывается – нет ни ручки, ни цепочки, чтобы дернуть; ни педали, ни даже бачка: только чашка с тянущейся в стену трубой. Вот сейчас подойду и рассмотрю поближе. До унитаза три или четыре шага, но, чтобы встать, необходимо разобраться с запутавшимися колготками и шкурой. Можно притвориться, будто мне неудобно на металлической скамье и я ищу другое место, но там нет крышки – только дыра. Не получится сидеть, если нет нужды. Можно что-нибудь бросить и, промахнувшись, пойти подобрать. Беда в том, что у меня нет ничего, что можно было бы бросить. Почему я должна скрывать от этого старого мешка с дерьмом, что хочу в туалет? Это неправильно. Вот сейчас пойду и заберусь на унитаз, а если Мэри спросит, что я делаю, отвечу, что соби-

раюсь выглянуть в окно.

Отлично, тогда за дело. Оттолкнись руками, наклонись вперед и потихоньку поднимайся, распрямляя ноги. Колготки. Как я заберусь на унитаз? Придется встать на четвереньки с одной стороны, упереться руками в стену и, зацепившись каблуком сапога за край, дюйм за дюймом подтягиваться, пока не взберусь наверх. Перестань улыбаться, Локки, – смотри: я стою. Сапоги по сторонам отверстия, колготки тянут, однако я держусь. А мутит, наверное, от высоты. На минуту прилепляюсь щекой к холодному бетону стены. Все встает на место, но Мэри глядит в мою сторону. Надо притвориться, будто смотрю в окно. Не получается: проклятушее окно слишком высоко. И далеко – посредине стены, – чтобы глядеть в него из угла. Она все поймет. Придется спускаться. Можно прыгнуть, но что-то лежит между ног. Я стою над дерьмом Мэри. Над ее какашками.

Кто-то появился в дверях. Седовласый мужчина в форме. Старик с добрым лицом видит, куда я забралась.

– Мисс Данн, следуйте за мной по лестнице!

Я бы расцеловала его. Каблуки сапог стукнули по бетону, и от удара подъемы стоп обожгло жаром. Но теперь не до хромоты. Мы спускаемся вниз – старик и я, – он берет меня под руку, словно даму, следовательно, теперь они знают, кто я такая. Старик придержал тяжелые решетчатые ворота, чтобы я прошла, а когда закрывал внешнюю дверь, я бросила взгляд на Мэри. Она сидела на скамье, курила и смотрела

в пол. Старик запер дверь и поднял голову – я одарила его сладкой улыбкой.

– Рада, что вы вовремя подоспели. Она меня чуть не застучала.

Старик берет меня за руку, ведет по темному коридору и помогает спуститься по лестнице. Поворот за поворотом в спирали с прямыми углами – мы минуем первый этаж и оказываемся в подвале. Проходим пустые с паровым отоплением, люминесцентным светом и раскатистым эхом комнаты. На колготках дыра, но я успокаиваю себя тем, что на мне высокие сапоги, и следую за своим сопровождающим нежного возраста. Он ведет меня через открытые двери, однако по сторонам встречаются и закрытые. Подходим к закрытой – она не зеленая и не металлическая, а деревянная, вишневого цвета, с сияющей ручкой. Старик останавливается перед ней, выпускает мою руку и улыбается сквозь свои кожисто-бурые морщины.

– Я тебя здесь оставляю. За дверью офицеры, которые хотят с тобой поговорить. Когда закончите, я приду за тобой.

Спасибо, папуля, теплая тебе благодарность. Он быстро стучит и удаляется. Дверь открывается, и учитель упрекает:

– Ты опоздала. Заспалась?

Да не знала я, ведь за мной только что пришли.

Он закрывает дверь и направляется в переднюю часть комнаты. Берет тетрадь с большого стола и что-то в ней пишет. Отрывается от своего занятия и манит к себе:

– Подойди!

Я двигаюсь между партами. Ряды парт, и ни одной пустой. Удивляюсь, где бы я села, если бы пришла вовремя. За каждой склоняются над книгами, на меня не глядят, молчат и вряд ли догадываются, что что-то происходит. Наконец я останавливаюсь перед учителем, и он смотрит на меня сквозь толстые стекла очков. Рот приоткрыт, но зубы сжаты, и слова просачиваются сквозь них так, что это никак не отражается на его лице.

– Здесь строгая школа, мисс. Если опаздываете, должны объяснить причину. Садитесь на этот стул, чтобы класс рассмотрел вас.

Я села, однако никто из учащихся не шелохнулся и не оторвался от книг. Учитель подал мне высокий бумажный конус:

– Вот надлежащий головной убор для таких, как вы.

Колпак был слишком велик для моей головы – съехал на уши и кренился то вперед, то назад, задерживаясь на затылке или на носу. Шаткость головного убора нервировала меня – я боялась уронить его. Сидела прямо и неподвижно, свесив ноги на пол с края стула. Перекладины у него не было. Пока я устраивалась с конусом и врезавшимися в ноги от сидения колготками, учитель пошелестел сваленными на столе бумагами, взял толстую манильскую папку и стал, хмыкая и бекая, листать.

– А сейчас, мисс, хочу задать вам несколько вопросов. Бе-

рите эту книгу.

Она была настолько большой, что я едва могла удерживать ее на коленях. На заплесневелой обложке сусальным золотом было выведено: «Местный законодательный лексикон Индепенденса».

– Том составлен по принципу словаря. Я стану вас спрашивать, но вы не будете сразу отвечать, а станете искать ответ в книге по первой букве вопроса. Найдете вопрос, дословно соответствующий тому, что я сказал. Рядом с данным вопросом Лексикон приведет вам другой. Вы будете отвечать не на тот, что задал я, а на тот, что найдете в книге. Ответ будет состоять только из «да» или «нет». Вам ясно?

– Да.

– Тогда начнем. Ваше имя К. Данн, что является псевдонимом К. Росич?

(Это правда, что ваши родители не были официально женаты?)

– М-м-м... да.

– Во время ареста вы состояли во временной группе по продаже журналов?

(Ваш приемный отец овладел вами физически, когда вам было четыре года?)

Мне очень хотелось в туалет. Колготки врезались в промежность, к тому же лежавшая на коленях книга была сырой. Забавно: как только я чувствую на себе что-нибудь влажное или слышу журчание воды, сразу тянет пописать.

– Отвечайте, пожалуйста, на вопрос.

Я подняла руку, сложив на ладони пальцы и зажав большим. Указательный отставлен вверх. Учитель на руку не смотрит – лишь мне в лицо своими туманными за линзами очковых глазами. А у меня, чтобы защититься, нет не только очков, но и подводки на веках.

– Отвечайте на вопрос!

Неужели он собирается ударить меня? Какой был вопрос?

– Вы знаете, что чек, который сегодня вы пытались обналичить в Кресдже, выписан на несуществующий счет?

(Шрамы на ваших руках – от укусов обезьян?)

Хи-хи и ха-ха, да.

– Вы сами выписали этот чек?

(Вы стали проституткой в силу привычки?)

– Нет.

– Вы обманным способом заставили молодого человека выписать вам чек, чтобы совершать покупки?

(Вы стали проституткой, чтобы расплатиться с долгом?)

Если бы псина была в форме, она бы потерлась грудями о его ладонь, закатила бы глазки, и мы бы быстро оказались в туалете. Вот бы выскользнуть из нее и отдохнуть! Живешь как сиамский близнец, соединенный промежностью со своей половиной, – стараешься вылечиться от пневмонии, а она отплясывает Ватуси. За те несколько месяцев, пока я пыталась продавать журналы, она совершенно измочалилась.

О, да! Никому не позволяй задумываться.

– Это обычная практика для вашей торговой команды – обманным образом заставлять людей приобретать журналы? (Как вы проституируете?)

По-моему, они не знают, кто я такая. Я участвовала во всех школьных постановках, получала только высшие баллы, и ни один учитель не осмеливался оставлять меня после уроков. Входила в дискуссионную группу, была запевалой в девичьей лиге. Получила бы Национальную стипендию за заслуги, но накануне главного экзамена напилась и клевала на нем носом. Была настолько положительной, что мне позволяли ходить на занятия в джинсах, а когда срывалась с уроков, школьный надзиратель являлся ко мне домой – попить со мной пивка. Мать любила меня. Разве вам не понятно, какая я одаренная? Восприимчивая, образованная. Со мной нельзя обращаться как с обычной преступницей. Сочиняю стихи и все такое... А продажа журналов просто шутка, потому что я убежала из колледжа. Я живу в Орегоне, только не на Либерти-стрит, как вам сказала. Мы там цивилизованные люди, у нас есть маленькие отдельные кабинки, куда можно заходить и писать так, чтобы никто не знал. А если кто-нибудь слышит, как спускают воду в унитаз, то делает вид, будто ничего не происходит. Боже, как странно! Тут все такие тихие. А мне так хочется писать, что кажется, я ощущаю это на вкус. Учитель стоит, скаля зубы, а линзы его очков, словно океаны между моими и его глазами. Откуда-то доносятся хлопки. Это громкоговоритель над дверью: хлоп, хлоп,

хлоп – негромко и постоянно. Никогда не любила вечерних занятий.

– Мисс Данн, ваш отказ говорить приходится принять за утвердительный ответ. Вы обвиняетесь в том, что при вас находился жульнический чек, который вы пытались реализовать. Вам понятна суть обвинений?

(Псина мертва.)

Я бегу из школы – семеню, как только позволяет трико. По ногам течет что-то горячее, но пока достигает колен, охлаждается. Пол подо мной мокрый, вокруг смеются. Ученики в тех же позах, на меня не смотрят. Ни один не двигается, однако пока я ковыляю по проходу, смех становится громче. Натыкаюсь на одного из учеников, его тело не оказывает никакого сопротивления – падает на пол в той же позе, в какой сидело за партой. Он все так же пристально смотрит в книгу, которой больше перед ним нет. В груди отзвуки смеха. Вот и дверь. Она распаивается. За ней опирающийся о подоконник старик преграждает мне путь. Мой рот открылся, готовясь крикнуть, но закрылся о его ладонь. Падая, я ощутила вкус синей шерсти и услышала звук рвущейся синей шерсти. В разорванном рукаве мелькнулидвигающиеся железные стержни и шкивы.

Складывается впечатление, будто сон ей не нужен, и я тоже не могу заснуть. С тех пор как я вернулась, Мэри кружит по камере и давит жуков. Я не любительница жуков, однако

не обладаю ее свирепой энергией, чтобы растирать жуков в пыль, если они находятся дальше двух футов от меня. Мэри же, наоборот, выискивает жуков и пересекает всю камеру, если замечает хотя бы одного. Может, они бы меня беспокоили, если бы я их видела, но пол настолько грязный, что жука не отличить от кусочка омлета недельной давности, если, конечно, не попробовать на зуб.

– Мэри, этот унитаз когда-нибудь смывается?

– Ручка смыва в соседнем помещении. Его смывают раз в день, рано утром, и таким образом будят перед завтраком.

Забавно: я не замечала, что у Мэри надтреснутый голос. Это потому, что она почти ничего не говорит.

– Ты здесь давно?

– Одиннадцатый день.

– За что тебя сцапали?

– Я сидела в машине, а мне сказали, что я не имею права. Тогда я завопила, чтобы услышали соседи, но не слишком на это надеялась и побежала. И меня притащили сюда и заставили одеться.

– Что это за жуки?

– Их называют Швинн.

– Как?

– Они катаются на красных велосипедах, у них в ушах радиотранзисторы, и если не двигаться и прислушаться, они поползут по ногам и будут кричать: «Мама! Мама! Мама!»

Ветер стих, а сапоги были достаточно высокими, чтобы

ноги согрелись. Руки же можно держать под мышками. Реакция на холод заключается в том, как человек дышит. Когда напрягается диафрагма, дыхание становится частым и прерывистым, появляются дрожь и боль в грудной клетке. Нужно дышать медленно и глубоко. От этого теплее не станет, но не разболится грудь.

Во сне я слышала шлепки падающих друг на друга карт Блендины. Похоже на звуки в громкоговорителе в классе. Хлынула вода, и шум эхом затопил камеру. Подошвы кроссовок Мэри на моем лице, и унитаз в одиночку смывается в углу. В стенах завывают трубы. Я впервые заметила, насколько выше ее. Ступни Мэри на уровне моего носа, а во сне она прижимается грудью к моим коленям. Мои ноги выступают на несколько дюймов за ее головой. Рот приоткрыт, видны голые, синюшные десны. По моим сапогам стекает клейкая струйка слюны Мэри. Я с облегчением отмечаю, что на ее подошвах нет трупов давленных жуков. Ни шкурок, ни сукровицы, лишь пыль. Я чихнула, и ее веки раскрылись. Мэри спустила ноги на пол. То, как она их сжимала, двигая, словно единое целое, напомнило мне о трико. Я потянулась и, прежде чем решиться на что-либо более смелое, например, сесть, провела по нему рукой. Потягивание показалось болезненным. От постыдного происшествия прошлой ночи остался шуршащий участок неприятной сыпи. Если не появится возможности протянуть ноги к сухому воздуху, промежность трусов и прилегающая кожа еще долго будут влаж-

ными и жаркими. Тело натерло до ссадин, отчего писать будет больно. Лучше бы я встала, не разбудив Мэри.

Все начинается заново с той лишь разницей, что унитаз промыт. Громыкнула дверь – принесли завтрак, но я моргнула и пропустила это событие. А когда снова открыла глаза, передо мной на скамье стояли две бумажные тарелки. Я села и поставила промокшую тарелку высоко на колени – прямо под подбородок, где сырость не вызовет позыва пописать, и я буду видеть, нет ли в еде жуков. Тарелка и оладьи на ней пропитаны черной патокой. Пластмассовая трехзубая вилка режет сладкий картон. От оладий желудок сжимается, и в нем ощущается тяжесть. Мэри ест из другой тарелки и пьет кофе из чашки из стирофома.

Воздух влажный. Из-за серого света в окне лампочка стала невидимой. Снаружи на площади зазвонили колокола, выводя мелодию: «Я снова отвезу тебя домой, Кэтлин». Первые ноты как бы упали в наше окно.

Мэри опять начала охоту на жуков – безмолвная и ужасная. Я стараюсь затихнуть, давая псине возможность отдохнуть. Она по-прежнему ни на что не реагирует.

Подали обед. Сухую индейку с каплей клюквы и картофельным пюре. Теперь у меня собственная чашка из стирофома. Ее принес старик.

– Счастливого Дня благодарения, – сказал он.

Тарелки положили в угол к тем, что приносили на завтрак. В куче прибавилось кровавых тряпок.

Он снова пришел за мной – тот самый старик. И терпеливо стоит на пороге. Я иду к нему. Двигаться теперь тяжело. Как бы не упасть в шкуре, в ее состоянии. Во внешнем помещении светлее. Интересно, Мэри когда-нибудь покидала камеру?

– Мэри? Ты о девице, которая сидит с тобой? Ее зовут Софи.

Мы опять в подвале. Двое мужчин в большой комнате. Отпечатки пальцев. Он берет мою руку и прижимает каждый палец к чернильной подушке, а затем к бумаге. Небольшая бутылочка с мыльной пеной – и чернила исчезают с моих пальцев. Другой мужчина включает свет. Фотоаппарат. Я опираюсь на стул на фоне большого листа бумаги. Слабая улыбка, снимок в профиль.

– Дадите мне карточку, когда напечатаете?

– Конечно, детка. Не сомневайся.

Я боюсь телефона, но таков закон. Диск вращается под пальцами. Б-ж-ж – щелк. Гудок и объявление времени: 1:13 и тридцать секунд.

– Привет, Хорас, это К.

Время – 1:13 и сорок секунд. Бом.

– Устроишь мне адвоката?

Пятьдесят секунд. Бом.

– Спасибо, Хорас. Сойдет любой. Не траться.

Гудок и время. 1:14 точно.

– Чрезвычайно благодарна. Хорошо сознавать, что у тебя есть друзья.

Прибавилось десять секунд.

– Ладно. Пока. Увидимся.

Сейчас еще скажут время. Не сказали – щелк.

Я с улыбкой поворачиваюсь к мужчинам. Те скалят зубы. Какие у них на вид твердые черепушки.

Я слышу голоса из соседней комнаты. Они доносятся из фрамуги под потолком. Мэри тоже их слышит и, временно оставляя охоту на жуков, идет к двери. Глядя вверх на фрамугу, охватывает пальцами решетку внутренней перегородки и ставит мысок левой кроссовки на перекладину в футах от пола. Подтягивается на руках и упирается левой ногой, пока не получается поставить правую над левой. Перемещает левую, а затем и правую руки выше. Лезет по двери, как по сетке. Оказавшись наверху, перекидывает руки через подоконник фрамуги и встает на верхние перекладины решетки. Поворачивает голову, смотрит на меня, затем сквозь фрамугу. Мне видно далеко под ее юбкой – там, где толстые ноги превращаются в толстые ляжки. Мэри кричит, и от ее крика юбка колеблется:

– Выпустите меня! Я хочу на волю!

Разговор в соседнем помещении продолжается, не прерываясь. Скоро Мэри спускается, ее лицо и шея сильно покраснели. Она долго сидит на краю нар. Я – на другом и думаю:

хоть бы ее увели, тогда бы я смогла пописать.

Мэри одновременно писает и какает в чистый унитаз. Встает с нар, идет к нему, задирает юбку и садится. Я поспешно отворачиваюсь, прижимаюсь щекой к холодной стене, однако все слышу. Ее жидкость струится в жидкость туалета, и вода в фаянсе создает резонанс, когда она пукает. Каждые несколько секунд раздается всплеск, но Мэри смотрит в пол, словно не она его производит.

Мне не требуется идеально чистый унитаз. Я могла бы пописать поверх ее мочи, но только не поверх кала. И уж тем более не покакать, чтобы наши испражнения смешались. Невыносимо думать, что мое окажется темнее или светлее, чем ее, и можно будет определить, где чье. Однако еще хуже, если субстанция будет одинаковой и перемешается в воде. Придется ждать, пока завтра утром не промоют туалет, и поспешить занять унитаз раньше.

Мэри разговаривает с кем-то снаружи. Этот кто-то, вероятно, на дереве напротив нашего окна. Целый день я видела пляшущую за решеткой ветку, однако не сомневаюсь, что она прикреплена к стволу. Мне слышно только Мэри и шум ветра, но, вероятно, я слишком далеко от окна. Она же стоит прямо под ним и кричит:

– Что ты сказал? А? Я в порядке. Сообщи ребятам, со мной все хорошо! Ты-то как, Джо? Нормально? А жена? Ха-ха! Понимаю. Ты только держись. Вот выйду и все устрою. А? Что? Ну да, пока.

Плечи Мэри опустились, и она, усмехаясь, с новой силой накинута на жуков.

Время струилось вокруг, как вода. Я чувствовала себя совершенно занятой и очень бы рассердилась, если бы меня отвлекли. При помощи ворота свитера Мэри разговаривала со своей сестрой в Уичито – все это требовалось выслушать. Затем песни и размышления о мочевом пузыре. И холод.

Поздно. Голоса в соседней камере давно стихли. Появилась новая девушка. Тоненькая, красивая, в красном пальто. Пальто не сняла, забралась с ногами на нары и нервно закурила. Сигарета в ее темных пальцах кажется бледной. Губы сочные, фиолетовые, будто сливы на черном лице.

Когда мы с Мэри решили лечь, девушке места на нарах не хватило. Но она и не хотела ложиться. Ходила по камере и курила, пока я не заснула.

Когда в мой сон ворвался шум воды и я открыла глаза, девушки не оказалось. Осторожно, чтобы не разбудить, я перебралась через Мэри и пошла к унитазу. Подняла юбку, освобождая промежность, чтобы дать выход жидкости. И впервые увидела трико после того, как оно выбилось из-под форменного пояса. Все еще блестящее и не жеваное, однако бедра покраснели и сильно чесались там, где оно соприкасалось с кожей. Поскольку ноги настолько сведены, горячая влага плещет бесконтрольно и производит много шума. Крепко тужусь, чтобы все успеть, пока что-нибудь не произошло. Хотела бы и покакать, но, боюсь, нет времени до то-

го, как проснется Мэри и принесут завтрак. Кроме того, мне неудобно, что она увидит мое плавающее дерьмо. Мне будет невыносимо сознавать, что оно в воде. Поэтому я встаю и оправляю юбку. Туалетной бумаги не предусмотрено. Неловко сидеть с полным кишечником. Никому не приходилось видеть сестру Блендину на горшке.

Принесли обед, и мы пластмассовыми вилками едим макароны с сыром. Дверь скрипит. Входит старик и смотрит на меня:

– У тебя есть пальто, мисс?

Нет. Я оставила его вместе с арахисовым маслом и банановым сэндвичем, когда пошла обналичивать чек.

– Плохо. Тебя перевозят в Канзас-Сити. Предстанешь перед расширенной коллегией присяжных. Идешь со мной?

Расширенная коллегия присяжных... А я даже не знала. Я поднялась и посмотрела на Мэри.

На самом деле твое имя не Мэри, а Софи, и здесь нет никаких жуков Швинн. Я это вижу даже без очков. Как и то, что за окном не было никакого Джо, а у тебя в воротнике свитера – телефона на транзисторах. Я дышу учащенно. Она смотрит на меня со смутным интересом и возвращается к макаронам. Пятно на груди ее белого свитера демонстрирует то место, где с ним соприкасались подошвы моих кроссовок, когда она спала. Улыбаясь, я взглянула на старика, но он отвернулся и открыл передо мной дверь.

В машине тепло, сиденье мягкое. Старик за рулем, я рядом. На заднем сиденье – отказавшийся финансировать собственных детей негр. Ему предстоит провести в тюрьме год. Рядом с ним еще один человек в форме. Мы выехали из Индепенденса задворками, и мне не пришлось еще раз увидеть карусель. У меня поднялось настроение: стало радостно, захотелось общаться. И даже удалось контролировать шкуру, не садясь на нее.

Черный железный узор пейсли режет снег. Лилия в мушкетерском металле перекручивает белое небо. Не для нас. Для них. Для тех, кто снаружи. Даже здесь, на тринадцатом этаже внешние окна своими решетками создают обманный образ замороженной утробы и форм семени. Возможно, для дочери бывшего президента – иногда она выбирается на вертолетную прогулку.

Внутри металл разряжен, сплавлен так, чтобы приспособиться к чужеродному жару нашего присутствия. Сталь, но более естественная, которой позволено течь в собственных неорганических формах, – только трубки и диски без попыток прикинуться пародийными картинами живого.

Между нами и мерзлым фасадом бруски и стекло – переохлажденная жидкость. Все железо раскрашено по совету некоего пенолога с ученой степенью в области психологии. В холодный розовый. Обманный розовый – чтобы мы думали, будто помним жаркий розовый и багровый внешнего мира, в то время как замороженная память хоронит разум в потоках

прошлого.

Мы двигались медленно, словно болотная трава во время прилива, – укорененная, прозябающая своей растительной жизнью, клонящаяся по течению то в одну, то в другую сторону. Однако существовало и некое подводное течение, обладающее более фундаментальным ритмом, подавленное, но тем не менее живое. У затопленной травы сохраняется память о ветре. Есть моменты, когда мы наносим ответный удар. Если мы овощи, то в то же время канныбалы.

Скоро ворота откроются, и мы будем вольны переместиться в зал для ожидающих суда или остаться в камерах, если захотим. В моей камере бодрствует лишь Блендина. Ее карты перемещаются медленно. В других камерах царит тишина.

Главная девушка Кэти уйдет первой, когда створка отъедет в сторону. Другие камеры переполнены – по девушке на одни нары, восемь на площади восемь на двенадцать дюймов. В главной камере только Кэти, потому что она главная. А главная, поскольку находится здесь дольше остальных. Когда мы идем в кухню за едой, от нее не требуют, чтобы она надевала зеленую форму. На ней джинсы «Левайс» и мужская футболка.

Она первая, кого я увидела, попав сюда. Надзирательница вышла принять меня из машины. Водила по коридорам, через двери, пока я не запуталась настолько, что понятия не имела, как отсюда выбраться. Двери, двери, затем лифт, и

наконец я здесь, в отсеке С. Вокруг много женщин, но я не могу разглядеть их лиц. Вижу только одно лицо – Кэти, – и она ведет меня в главную камеру.

Главная камера также известна под номером один. Цифра «1» висит над дверью, но никто не называет ее первой. В ней на решетках и на воротах шторы, скрывающие внутреннее помещение даже днем, когда выход свободен. Кэти сказала, чтобы я сняла одежду. Я застеснялась, потому что мне требовалось в ванную. Одежда сильно перепачкалась, ведь днем я в ней ходила, а ночью спала. Заметив мое колебание, Кэти ударила меня по лицу. Не сильно – она была меньше меня, – но глядела твердо, и я, стыдясь, разделась. Под юбкой было трико. Кэти подошла вплотную и положила ладонь на то место, где кожа была стерта до крови. Я посмотрела сверху вниз на ее голову и ощутила запах тоника в ее коротких, блеклых волосах. Она отняла руку, понюхала ладонь и улыбнулась мне.

Помню, как я быстро шла по тротуару с пробивающейся в трещины травой и молилась: Боже, милый Боже, пусть она скажет «да» и я сумею пойти в кино, Боже, помоги, но пропустила финал серий с Дэвидом Кроккетом в Аламо, хотя не переставала молить, ведь что еще вымаливать, как не то, что очень хочется.

Летняя лужайка, облака, набухшие и близкие, свет белый и яркий далеко от солнца – взрывается в облаках. Бог улетучился, но я падаю на колени, понимая, что это ангел – о Бо-

же! – потом замечаю, что это прожектор на площадке подержанных автомобилей на бульваре, но все равно: «О Боже!», хотя на это требуется больше сил, но если я христианка или вроде того, то справлюсь.

На старом диване с включенным на всю катушку отоплением, обложившись хлебом, болонской колбасой, горчицей и майонезом, еще молоком, шоколадно-арахисовыми пальчиками и всякой ерундой от Ван-Дейна, с умыкнутой генетой в соку, но перевалившей за середину жизни, читать вслух отменную прозу в полутемной комнате, онемевшей, с обритой головой, рваться к нему, омыwać и кормить его, следовать за ним с запасным мачете, отрубить стопу и истекать кровью. Пусть кровь течет, затем отрубить руку, потянуться оставшимися пальцами и вырвать глаз, чтобы почувствовать себя спрятавшейся, целиком погрузившейся во зло – не ради искусства, а ради самого зла. Купаться в нем, потягиваться в нем. Но вот звенит дверной звонок, сейчас включу электричество, чтобы их там всех поубивало, пожру их всех. Дверь открывается, и на пороге – монахини в колеблющемся черном.

Меня моментально вырубают, но по ошибке – им нужны люди, живущие внизу.

В миссии с фасада магазина, где раньше жили цыгане, исправившаяся проститутка и исправившаяся прачка с тамбурином и аккордеоном, в компании святых и неровных рядов складных стульев с проходом к стеклянной двери с коло-

кольчиком, распростертых сзади старых бомжей с вино-то-щими телами и преподобного, который не делал и не делает ничего такого, о чем мы можем подумать, его крутозадой жены с худым кошельком, играющей на старом пианино за кафедрой. Все эти Майи, Бетти и Перлы на сцене, они любят Бога ради него и подбираются поближе к его плоской ширинке, когда он простирает к небу руки – о, Иисус! – играющие на гитарах и аккордеонах уродливые женщины и долбящие фортепиано его седовласой жены, поющие – о Иисус! И старик в пятом ряду с газетами в ботинках, стоящий и опирающийся на спинку стула перед собой и с зеленой бутылкой между ботинок. Он поднимает кулак – о Иисус! – и его надтреснутый пропитой голос свободно катится вперед: я грешник, Иисус, о да! Я видел мир, ходил на танцы, в таверны и на роликовые треки. Этот мир – помойка, да, да, мусорное ведро, в компании зеленых бутылок у задней стены, тускло светящих сквозь зеленое стекло голых лампочек на потолке, уснувших и пукающих на складных стульях людей, вопиющего в потолок преподобного, бренчащей на гитаре одной рукой исправившейся прачки и другой, подбирающей шесть своих нижних юбок, и никто не обращает ни на кого внимания. Затем кофе, засохшие сэндвичи и кровать, если человек демонстрирует убеждение в вере, и все называют друг друга братьями и сестрами, а я слушаю и слушаю, поскольку неизвестно, когда обретишь спасение.

Я могу уйти к конкуренту: еда лучше и ешь сидя, но проповеди «Армии спасения» обычно дольше, и все это позорная ненавистная, тяжелая еда.

Лягу в постель, если это удобно, с Хлопчатобумажной Матерью – посмотрим, насколько будет уютно, если его задница прижата к моей груди, а теплая миссис М. лежит за мной; его мягкое, скользкое имя оттягивает мне язык, и – похоже это или не похоже на то, будто я маленькая в кровати с братом, и его гладкая, округлая рука на подушке – мне хочется уку- сить, отхватить порядочный ломоть, как от куска мяса, и ес- ли я этого не делаю, то только опасаясь ссоры, шума, возни, – уку- сить не значит проглотить, именно уку- сить; он вещает в аудитории, еще не старый мужчина, и, поскольку философ произносит слово «утроба», а я размышляю, каково это бу- дет, если уку- сить его за губы, когда они, как сейчас, сжаты на моем языке, уку- сить сквозь них за его язык и ощутить, как трепыхаются теплые ошметки, а потом немного приот- крыть губы, чтобы теплое вывалилось мне на подбородок, а если я улыбнусь в зеркало, то увижу красное между зубов и просвечивающие сквозь красное белые зубы. Меня останавли- вает мысль, что он будет делать, пока я буду делать это. Мне не хочется думать о нем, но мысль в меня вползает и не дает поступить, как я хочу, из боязни шума и драки.

Я в камере 4. Это последняя камера в отсеке, в ней нахо- дятся новенькие и те, кого поместили на одну ночь. А те, ко- торые и не новенькие, и не временные, отличаются от жен-

щин в других камерах. Таких только две: Блендина и я. Блендина всех успокаивает. Ежедневно, день за днем раскладывает солитер. Новенькие сначала пугаются ее, но затем она их успокаивает. Я ни разу не слышала, чтобы Блендина заговорила. Не видела, чтобы она заснула. Когда по ночам засыпаю я, Блендина продолжает раскладывать солитер. Не замечала, чтобы она ела. Говорят, когда остальные отправляются за едой в кухню, надзирательница приносит ей поднос. Но я ничего подобного не видела. Не видела, чтобы она ходила в ванную. Чтобы гуляла. Не видела, чтобы Блендина делала что-либо иное, кроме как сидела на скамье в бюстгальтере и трусах и раскладывала пасьянс.

Думаю, она не молода. Можно судить по ее лицу. А тело худое и смуглое, только обвисли груди и слегка выступает живот.

Сестра Блендина перемешивает карты и раскладывает между ног на нарах в камере 4.

Я тоже остаюсь в камере 4. Прошло много времени с тех пор, как я была новенькой. Не понимаю почему.

Торжественная обедня в женском туалете терминала автобусной компании «Грейхаунд». Закутанная в длинное пальто, она тихо посмеивается рядом со мной. Верующие в длинной очереди к свободной кабинке: стервы с горящими мочевыми пузырями мысленно сжимают бедра, маленькие пожилые дамы с проблемами с почками переминаются с ноги

на ногу. Никто друг друга не касается. Косые взгляды очень похожи на шантаж: если ты сделаешь вид, будто я не писаю, то я тоже притворюсь, что не понимаю, что писаешь ты.

Всегда находится милая дама с десятицентовиком – тот, кто платит, выглядит респектабельнее, – ей не нужно спускать воду. Она писает так, что очередь этого не слышит, и у людей нет доказательств, что она пришла сюда именно за этим. Некоторые, заняв кабинку, упираются в дверь ногами, закрывая ступнями щели, чтобы сквозь них не смотрели снаружи. Отрываются от собрания, уединяясь с божеством, и спускают воду, скрывая звук своих отправлений, а вскоре появляются на людях, и никто точно не знает, чем они занимались в кабинке. Когда дама, решившая заплатить, выходит из кабинки, следующая в очереди хватается за дверь, чтобы сэкономить средства, а за ней – следующая, до тех пор, пока служительница не пригрозит иждивенкам ключом. Она запирает дверь, и та, что внутри, больше не может выйти. Служительница покачивается, темная, мускулистая рука совершает полукруг вверх, золотой ключ между большим и указательным пальцами. Женщина запрокидывает голову, ее живот надувается, в воздухе металлический блеск, ключ брякает о зуб, влажное чавканье глотки, и ключ проваливается в пищевод. Мне кажется, я слышу, как он ударяется о самое дно. «Посиди-ка несколько часов, дорогуша, – говорит служительница, – пока я не найду человека, который возьмется его выудить». А что плененная дама? По ней плачут дети.

Муж прыгает в автобус, ее сестра в Кеокуке готовит особенный обед, она же мурлычет оду сортиру:

Нет горя без утешения
Холодной беспорочностью
Твоего Свидетеля –
В септических глубинах
Сильные мира сего и нищие
Все, как один.

Тринадцатый этаж здания – тюрьма округа Джексон. Это подводная лодка во чреве кита. Пол представляет собой единый металлический каркас в камне. В подводной лодке четыре помещения: отсеки А, В, С и D. А и D для мужчин, один цветной, другой белый. Отсек В женский цветной, хотя в нем есть несколько белых женщин. С – наш, белый, и у нас нет ни одной цветной женщины. Я пишу на стене за своими нарами огрызком карандаша, который нашла под унитазом. Линии тонкие, блестящие на розовой стали.

Я привыкла обходиться без очков. Решила: не существует никакой ясности зрения, только стойкость искажений.

Первую проведенную здесь неделю каждый день обязательно сажала синяк и разбивала нос. Если бы не Мардж, не знаю, что бы со мной было. Она поступила в тот же день, что и я, – крупная, краснощекая, добродушная. Мы сопротивлялись им вместе.

Их было всего четыре, и иногда они пытались принудить

нас к сексу. Главным образом, потому, что мы все еще пахли внешним миром, и это выводило их из себя.

Мы забивались в угол, царапались, отбивались. Безмолвная, жуткая борьба, слышалось лишь неровное дыхание и время от времени звук удара. Возникали моменты, когда я не могла унять смех, и от этого они бесились еще сильнее. Я хихикала даже маленькой, когда меня лупила мать.

Жил да был замечательный дракон, он обитал неподалеку отсюда на вершине горы. Дракон испражнялся гроздьями земляных орехов. Писал лимонадом. Когда простужался, из носа текло суфле из алтея. В ушах вместо серы помадка. В пупке вместо вонючей грязи карамель. Если слышал что-нибудь грустное, то плакал ананасовым сиропом. А если ложился спать на живот, к утру между ног образовывалась сладкая лужица сбитого крема.

Веселый был дракон – дракон-домосед, не шатался по округе, не изрыгал огонь, не устраивал никому неприятностей, а оставался в своей пещере на вершине горы, любовался восходами и закатами, вырабатывал в большом объеме арахис, сбитый крем и все остальное. Дракон ничего не ел, но раз в год – не в определенный день, а когда хотел, пил немного чистой воды, которую плескал на язык.

Поскольку дракон был настолько мил и почти ничего не говорил, и с ним не о чем было спорить, вокруг его пещеры построили много деревень. Их жители тратили время на то,

что вывозили производимые драконом сладости. Благодаря этому двор дракона всегда был чистым, а они все, что не могли съесть, продавали в другие города и стали весьма зажиточными. Так прошло несколько сотен лет. Но однажды случилось вот что: дракон искал причитающуюся ему небольшую порцию воды, а кто-то совершенно случайно, без малейшего злого умысла, налил вместо нее уксус. В уксусе ничего дурного нет, если его употребляют в нужное время и по делу, однако он совершенно неуместен, если требуется чистая, свежая вода.

Дракон потянулся за причитающейся порцией воды и принял жидкость на свой длинный синий язык. Глотнул, задохнулся, кашлянул и изрыгнул на сотню ярдов пламя, и при этом сжег мальчика, который стоял у его ноги и выковыривал из-под когтей сладости. Это пламя опалило голень самого дракона. Он взвился, закашлялся и забил хвостом, отчего на горе от тряски попадали дома. С каждым кхеком дракон выжигал по полмили и серьезно повредил себе горло. Чем сильнее оно саднило, тем больше он кашлял; чем больше кашлял, тем сильнее болело горло. Люди, причитая, бежали по улицам, а улицы от встряски дракона проваливались, и те, кто находился в чистом поле или под деревом, от его кашля превращались в мелкие угольки. Дракон кашлял целый день, всю ночь и всю неделю, пока от океана слева до океана справа и с севера на юг не уничтожил все живое: жуков, птиц, траву и людей, коров, все дома, машины, опустошил землю, и она

почернела. Он стоял на вершине испорченной горы и, в последний раз кашлянув, сжег все, кроме маленького желтого волоска, которому нравилось расти из карамельной корочки под пупком дракона, а дракон так устал, что лег на спину, вытянув ноги вверх, и крепко уснул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.